

А. И. КУПРИН
(1870 – 1938)



ДВА СВЯТИТЕЛЯ

Вспыльчивый, дерзкий на слово и на руку, небрежливый и беспокорный был епископ Николай, кроткий и немудрёный пастырь своего стада. Двери его дома всегда были незамкнуты: и днём, и ночью. Приходили к нему христиане и тайные язычники, и даже ариане¹; приходили вельможи, плотники, земледельцы, дети... Особенно дети. Ссорились и мирились. Дразнили друг дружку, плакали и смеялись, таскали потихоньку сладкое и во всех своих маленьких обидах требовали, чтобы судьёй их был непременно сам владыка. Бывало, разыгравшись, изобразят самого отца Николая, а он увидит и сурово крикнет на них. И сам не может сдержать улыбку. И дети рассмеются. Ведь он только притворяется строгим.

Ни одной, даже самой пустячной просьбы он не оставлял без внимания. И сколько тяжких человеческих грехов он разрешал и лечил своею благостною душою. Но его столетняя экономка и стряпуха Василида часто делала ему выговоры за то, что скромная его казна отверста для каждого проходимца...

Кассиан Римлянин был сыном, внуком и правнуком свободных римских граждан. Получил он по тому времени мирское

¹ *Ариане* – сторонники еретика Ария.

образование, то есть знал очень многое, и при том знал основательно. Умел молча слушать и кстати сказать верное слово. Ценил шутку, но сам редко смеялся. Был образцом внимания, вежливости, терпения и учтивости. К чужим слабостям был холодно-снисходительным, но к самому себе неумолимо суров.

Под конец своих земных дней, следуя искреннему душевному влечению, он удалился в монастырь, где был настоятелем. Гораздо раньше великих учителей Антония и Феодосия он разработал монашеский устав, не пренебрегая даже мелочами.

Не знаю, читал ли я где-нибудь давным-давно эту легенду, или может быть, кто-то рассказывал мне её в моём отдалённом детстве, но вот что однажды случилось. Приходит посланец Божий, Архангел Гавриил к обоим святителям и говорит:

– Вас зовёт к Себе Господь. Наденьте белые одежды.

Кассиан всегда был готов предстать пред страшное и грозное лицо Судии. Взял он в руки лёгкий посох и сказал:

– Пойдём, брат Николай.

А Николай забеспокоился. «Как же, – думает он, – оставлю я своё малое стадо? Вот этого завтра будут казнить, а того надо освободить из тюрьмы, здесь грузчик плохо обращается с семьёй, – следует его построжить, да и детишки без меня соскучатся»... Ну, впрочем, подумал-подумал, вздохнул и сказал:

– Ты уж, там, Василида, без меня не особенно скупись на деньги!

– Знаю, – ответила Василида. – Вы бы сами, там, как-нибудь поаккуратнее, владыко.

Вот, стало быть, идут они путём-дорогою, и всё у них похорошему. Оба спокойные, оба в белых одеждах. И сердца их также чисты, как их ризы. Но неумная душа Николая нет-нет, да и взметнётся: «Заушил ты Ария, Николай!» – спросит Господь. – «Я так прямо и отвечу: Да, Господи, заушил!» – «Как же тебе не стыдно? А ещё святитель, а ещё епископ, а ещё воздержания учитель!..» – «Да, – скажу, – Господи, это – мой великий грех. Не стерпел. Очень мне противно показалось. Уж если сомневаться в том, что Иисус Христос не Твой Сын, а простой обыкновенный человек, то, значит, долой и веру, и церковь, и будущую жизнь.

Стократно неправ был я в тот день. Накажи меня, Отец, накажи посильнее...» А вот то, что ко мне разные люди приходят, – и блудницы, и преступники, и язычники, и я их врачую и наставляю, как умею... Тут уж я ничего не сумею ответить. Просто скажу Ему: «Куда же им, глупым и блудным идти, кроме меня? Ну, невольно и пожалеешь. Прости меня, Всемилостивый, за смелость мою!»

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот уже почти дошли святители до Града Невидимого, и вдруг на пути заминка. Оказывается, ехал мужик с тяжёлым возом по грязной дороге, да заснул, и увязил в грязи лошадь и телегу. Давай полосовать мерина и кнутом, и крутовищем, да ещё ругается.

– Экий ты братец какой неразумный! – говорит ему Николай. – Чем зря животину стегать, ты бы её рассупонил сначала.

– А ты откуда взялся такой-сякой! Сам рассупонивай, коли тебе охота!

Поставил Николай лошадь на ноги, рассупонил, огладил. Лошадёнка об святителев рукав мордой потёрлась, от неё пар идёт.

– Ну, теперь, – говорит Николай, – давай телегу выворачивать.

– Я тебе не батрак, – это мужик-то ему, Николаю. – Сам тащи.

«Эх, дурачок, дурачок!» – думает Николай. Однако, поднатужился, покряхтел, поставил воз на дорогу. Обтёр, значит, ручки об одежду и уж хотел шагать за Кассианом, и ещё шага не успел шагнуть, как мужик бух среди грязи на колени и кричит:

– Землячок, а землячок, подожди! Может, если по пути, так до вёз бы?

Светло-светло улыбнулся Николай. Погладил мужика по его буйной головушке и отвечает:

– А идти нам не по дороге: мы к начальству.

Мужичонко ему кричит вслед:

– А, может, когда в нашу деревню завернёшь? Я для тебя – всё. Старуха моя как рада будет! Она, брат...

И унёс ветер мужиковы слова в степь.

Идут дальше святители. Николай, нет, нет, да и вспомнит про мужичка и весело ухмыльнётся в седую короткую бороду. Но и Касьян его не осуждает. «Будет время, – думает, – я бы и сам бедняге пособил, и вразумил бы его. А то ведь, дело-то какое: сам Господь требует».

Вот таким-то манером и пришли они в рай. Там всё кругом цветы белые, дух от них хороший, дорожки песочком посыпаны. Ангелы это ходят, крылышки у всех у них беленькие, ликуются, песни играют сладкие. Угоднички святые в праздничных ризах по парочкам расхаживают, беседы беседуют утешные...

Встречает святителей сам Архангел Гавриил, отворяет большие золотые двери. А тут как раз сидит на троне и Господь Бог Саваоф. Стали пред Ним святители, поклонились трижды до земли. Ждут и молчат. Потому что оба они знают, что известны все их дела и помышления и взвешены наперёд. «Отчего же вы так поздно? И почему, Касьян такой белый, а ты, Николай, так измарался?»

Николай и говорит:

– Брат Касьян, уж сделай милость, расскажи ты всё, как было.

Конечно, нелегко Касьяну товарища выручать, однако, рассказал всё по порядку, как и что: и про Архангела, и про белые одежды, и про мужика, и про лошадь. Подумал-подумал Господь и сказал. Сказал так просто, ласково:

– Звал я вас, дети, вот для чего: хотел я вам именины назначить. Так вот, Касьян, ты будешь именинником раз в четыре года – на 29-е февраля. Ибо весь ты в строгости дела Моего, и земные заботы только отяготят тебя. Ученики твои будут чинны видом и крепки в поступках. И устав Мой будут блюсти паче обычая и паче милосердия. Тебя же, Николай, будут праздновать дважды в год, на Николу Сухого и на Мокрого. И пусть чтут тебя все слабые, голодные и больные, все погибающие и преступные, христиане и язычники. Это тебе за твои загрязнённые ризы, и за то, что ты мужика приласкал. Итак, идите, дети Мои, с миром и поступайте, как доселе поступали. Вижу Я, что, хоть по-разному, но чисты ваши души и безупречны помышления... Грядите во Имя Моё.

Поклонились святители Господу, облобызали край Его светозарной ризы и возвратились на землю, восхваляя вышнюю Премудрость.

ТАПЁР²

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где её старшие сёстры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

– Mesdames, а где же тапёр? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит – мне не приказывали, тот говорит – это не моё дело... У нас постоянно, постоянно так, – горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. – Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга...

Самая старшая из сестёр, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнажённую шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

– Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, – сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подмётывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

– Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там всё это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю... Танечка, пойдём, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и ёлку будем зажигать...

Тина только в этом году была допущена к устройству ёлки. Не далее как на прошлое Рождество её в это время запирали с младшей сестрой Катей и с её сверстницами в детскую, уверяя, что

² *Тапёр* – музыкант, играющий за плату на танцевальных вечерах и балах.

в зале нет никакой ёлки, а что «просто только пришли полотёры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие её некоторым образом со старшими сёстрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве её репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых – большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного – круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слышал об их существовании, – и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьёзными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта весёлая, задорная молодёжь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюблённости.

Эти дни бывали днями полной анархии³, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи

³ *Анархия* – безвластие.

целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирала с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирала, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодёжь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось ещё неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

– Ладно уж, ладно... будет петь-то... Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева – хозяйка дома – почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урождённая княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество её мужа и детей слишком «мескинно»⁴ и «брютально»⁵, и потому равнодушно «иньорировала» его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман⁶, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор ещё, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого

⁴ Пошло.

⁵ Грубо.

⁶ *Гурман* – любитель вкусно поесть.

театра – элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, и по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шёл интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезаклаживал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой грансенора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодёжи неожиданное развлечение и самому принять в нём участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

– Молодые республиканцы! – говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. – Вы, кажется, скоро все заснёте от ваших серьёзных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны...

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады дурного тона». Но молодёжь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в ёлке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

– Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. – Он большой такой, гимназист последнего класса... нельзя же ему игрушку...

– Зачем же игрушку? – возражал Аркадий Николаевич. – Самое

лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщён таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, наемкните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошёл в гостиную, так он папироску в рукав спрятал...

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него ёлка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году⁷ с музыкой произошёл целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день ёлки, но по неизвестной причине замедлил с ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапёра, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой – на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нём...

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапёре, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука в свою очередь оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышнинных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя её и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай её бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапёре. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если

⁷ Рассказ наш относится к 1885 году. Кстати заметим, что основная фабула (события) его покоится на действительном факте, сообщённом автору в Москве М. А. З-вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых.

бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, весёлая блондинка, которую вся прислуга обожала за её ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

– Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, – сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. – Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапёра. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать ёлки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны...

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушённых снегом и внёсших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи – Лыковых и Масловских – столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали всё новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале ещё не зажигали огня. Огромная ёлка стояла посередине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша всё ещё не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила её в сторону и шептала взволнованно:

– Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

– Я уж и не придумую, что делать. Придётся попросить тётю

Соню поиграть немного... А потом я её сама как-нибудь заменю.

– Благодарю покорно, – насмешливо возразила Лидия. – Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошёл, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

– Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

– Ну что, привезла? – спросили в один голос все три сестры.

– Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, – уклончиво ответил Лука. – Они в передней... Только что-то сомнительно-с... Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, ещё не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади её копошилась в тёмном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая жёлтый башлык, окутывавший её голову.

– Только, барышня, не браните меня, – зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. – Разрази меня Бог – в пяти местах была и ни одного тапёра не застала. Вот нашла этого мальчика, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать...

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идёт о нём, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры тёмных волос, завивающихся «гнёздышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза – слишком большие для такого худенького детского лица – смотрели умно, твёрдо и не по-детски серьёзно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

– Вы говорите, что вам уже приходилось... играть на вечерах?

– Да... я играл, – ответил он голосом, несколько сиплым от маразма и от робости. – Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький...

– Ах нет, вовсе не это... Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

– Четырнадцать-с.

– Это, конечно, всё равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

– О нет, не беспокойтесь... Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая...

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

– Вы умеете, молодой человек, играть кадрили?

Мальчик качнулся туловищем вперёд, что должно было означать поклон.

– Умею-с.

– И вальс умеете?

– Да-с.

– Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

– Да, и польку тоже.

– А лансье? – продолжала дразнить его Лидия.

– *Laissez donc, Lidie, vous êtes impossible*⁸, – строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряжённая неловкость его позы внезапно исчезла.

– Если вам угодно, *mademoiselle*, – резко повернулся он к Лидии, – то, кроме полек и кадрилей, я играю ещё все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

⁸ Перестаньте же, Лидия, вы невозможны (франц.).

– Воображаю! – деланно, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

– Пожалуйста, прошу вас... позвольте мне что-нибудь сыграть...

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

– Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, – упрашивала она сестру и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: – Ничего, ничего... Вы сыграете, и она останется с носом... Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влѣкшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвинутой табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шрёдеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетѣнных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл её. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на чѣрном фоне неосвещѣнной гостиной, он спросил:

– Угодно вам «Rapsodie Hongroise»⁹ № 2 Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза ещё больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

⁹ «Венгерская рапсодия».

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил её на ухо:

– Где вы достали этого карапуза?

– Это тапёр, папа, – ответила тихо Татьяна Аркадьевна. – Правда, отлично играет?

– Тапёр? Такой маленький? Неужели? – удивлялся Руднев. – Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

– Да, вот оно что... Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но её уже не было в зале.

– Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, – ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. – Только я боюсь, что вы... как вас величать-то, я не знаю.

– Азагаров, Юрий Азагаров.

– Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдётся здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на ёлке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломлённая внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумлённых, забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом ёлки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым

звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска ёлочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг ёлки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного её отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под своё покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

– Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и чёрные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошёл пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо – одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырёхугольный лоб был изборождён суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомлённо и недовольно; узкие бритые губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперёд и твёрдо обрисованная, придавала физиономии отпечаток власти и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива

густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную...

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому, что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошёл в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошёл вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чём-то просившему его хозяину:

– Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом...

– Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием, – продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочерёдно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлён, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идёт о нём, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно повелительный голос Антона Григорьевича:

– Сыграйте, пожалуйста, ещё раз рапсодию № 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того, властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда ещё не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет ещё так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

– Вот что, голубчик Азагаров, – заговорил почти шёпотом Аркадий Николаевич, – возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, – в нём деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас доведёт Антон Григорьевич.

– Но ведь я могу ещё хоть целый вечер играть, – возразил было мальчик.

– Тсс!.. – закрыл глаза Руднев. – Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая всё больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

– Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на ёлке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой...

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом ещё раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную Рождественскую ночь его великий учитель.